

В.И.ДАЛЬ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Владимир Даль

**Вакх Сидоров Чайкин, или
Рассказ его о собственном
своем житье-бытье, за
первую половину жизни своей**

«Public Domain»

Даль В. И.

Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей / В. И. Даль — «Public Domain»,

Эта повесть также интересна прежде всего воспроизведением в ней различных чисто русских типов. Некоторые из них лишь намечены, характеристики их едва очерчены, но эти типы выхвачены писателем из самой толщи русской жизни и потому волнуют и привлекают. Это и характерный для 40-х годов разночинец Вакх Сидоров Чайкин, и самодур, шут и «великодушный» помещик Иван Яковлевич Шелоумов, который считал, что розгами крестьян бить – самое святое дело; есть в повести и герой, напоминающий гоголевского помещика Костанжогло, и даже проходимец, торгующий мертвыми душами.

Содержание

Глава I. От сотворения моего и до барской передней	6
Глава II. От барской передней до француза с отмороженными ногами	7
Глава III. От замороженного француза до зеленой куртки Ивана Яковлевича	9
Глава IV. От зеленой куртки Ивана Яковлевича до последних фокусов его	12
Глава V. От последних фокусов Ивана Яковлевича до казенного добра, которое не тонет и не горит	14
Глава VI. От казенного добра, которое не горит, не тонет, до преглупого покроя платья	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Владимир Иванович Даль

Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей

Не думаю, чтобы жизнь моя и большая часть того, что относится к личности моей, заслуживали большого внимания; но уверен, что уроки, коими наделяла меня судьба постоянно в течение тридцати лет, считая с самого дня рождения моего, могут быть поучительны не для одного меня, а для всех, если бы только они могли врезаться другому в голову и в сердце, как мне; уверен также, что спознаться с людьми, коих случилось мне рассмотреть очень близко, никому не мешает, а многим будет и очень кстати. Первые тридцать лет жизни моей были резки в очерках и пестры красками, хотя и сам я человек темный, как вы сейчас это увидите; но не ищите в записках живого человека повести или романа, то есть сочинения; это род живых картин, из коих немногие только по пословице: *гора с горой*, – в связи между собой и с последующими.

Глава I. От сотворения моего и до барской передней

Я сын приписного по ревизским сказкам, по народной переписи, комлевского мещанина, и остался без звания и места, когда отец мой скончался, покинув меня голосистым крикуном, но еще бессловесным. Мать моя поехала с какими-то попутчиками отыскивать отца, который, отправившись по торговле или промыслу своему – он был барышником, как у нас говорят, то есть торговал лошадьми, – отправившись на лебедянскую ярмарку, пропадал, не знаю сколько времени, без вести, – поехала и меня повезла с собою; на пути захворала, сердечная, попутчики покинули ее в чужом месте, она умерла, а я остался круглым сиротой, не научившись еще и самой необходимой на свете вещи: есть хлеб. Село было господское; мужик, у которого в избе скончалась мать моя, а я остался на руках, пошел с жалобой на беду эту к барину; тот, выбрав мужика порядком за такую неприятность, велел взять меня во двор, кормить, поить и растить. Вот все, что я впоследствии слышал от людей господских о том, кто я таков и откуда.

Когда я стал знать и помнить себя, то было мне, видно, года четыре; названная мать моя, скотница в барском доме, колотила меня кулаком в спину, приговаривая: «Молись, молись, молись, не ложись спать как собака». Эти слова остались в памяти моей, и это первые мои воспоминания. Потом, года через два, помню разительную перемену: барские покои; я попал туда со скотного двора по замечательному случаю. Один из барчонков сшалил что-то, и барин велел привести со двора какого-нибудь мальчишку и высечь в барских покоях при виноватом – в острастку; на это, как безродного сироту, избрали меня. Помню, как большой, плотный дворецкий пришел, схватил меня за руку и потащил по двору по лестнице; в покоях поразил меня крик, шум, плач – это барин сердился, бранил барчонка; барыня заступалась за него, а тот ревел. Я глядел на все это довольно спокойно, ничего не понимая, покуда наконец меня вдруг, ни с того ни с сего, схватили, растянули и высекли. И я и три барчонка, мы все были в голос, барин кричал и все грозил одному из них и приговаривал; а барыня об эту пору уже успокоилась немного и отошла. Когда все это кончилось, барин спросил: «Чей это головорез?» И услышав, что я скотницын приемыш, которая уже вбежала в переднюю, также редела во всю глотку и кинулась барину в ноги, то он, сказав: «А ты чего тут реवेशь, тебе какое дело? Что он, сын, что ли, твой? Ты чего пришла заступаться? Дура!» – приказал оставить меня в покоях; пусть-де привыкает, наука эта не мешает ему, пригодится, он будет бояться теперь и станет слушаться; потом пригрозил мне и, притопнув ногой, выслал в переднюю. Названная мать вынесла меня на руках, обмыла, одела, успокоила и опять понесла в барские покои: я снова реветь на чем свет стоит; и тут уже поколотила меня и сама Катерина. Заглушив кулаками страх мой, она передала меня холопам в переднюю.

Глава II. От барской передней до француза с отмороженными ногами

Первое время думал я, что меня прикомандировали в переднюю для одной только нужды: чтобы шелкать колодою карт по носу. Я сидел тут безвыходно, холопы играли в три листа или подкаретную и при этом били меня за всех по носкам. Это продолжалось, однако, недолго; вслед за тем помню я себя вдруг за одним учебным столом с баричами, и почти запанибрата с ними.

Это покажется иному странно. Надобно узнать, однако же, Ивана Яковлевича Шелоумова, моего отца и благодетеля, чтобы понять сколько-нибудь такую перемену. Иван Яковлевич Шелоумов был человек до такой степени странный, что иные называли его помешанным. Особенностей в нем была такая бездна, что никто в мире не мог бы в каком бы то ни было случае жизни угадать, что делает теперь Иван Яковлевич, какое выведет заключение, на какой род действий решится. Нрав его был необъясним. Казалось, он по дням, по часам, по неделям принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад; утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот; в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье – затеям нет конца, и весь дом выворотит вверх дном и наизнанку. Он как будто всегда разыгрывал какую-нибудь роль, но, казалось, без намерения, не знал и не замечал этого сам, а следовал житейским правилам своим, на этот раз составленным, и готов был в каждую минуту отдать вам отчет в нынешних делах своих, – но, заметьте, только в нынешних, – излагая перед вами целую вереницу опытной премудрости своей. Он, казалось, действовал всегда по душевному убеждению и не ханжил, но убеждение это менялось не только с видами луны, а иногда и с высотой солнца. Дома он обыкновенно корчил строгого, но справедливого отца семейства; если тут случался в такую минуту кто-нибудь посторонний, то Шелоумова речь изобиловала бесконечными поучениями, он был нравоучителен до приторности; с дворовыми и крестьянами был он то крайне ласков, шутив, словоохотлив, снисходителен; то опять вдруг приходило ему в голову, что надобно их взять в руки, и он был криклив, шумлив, драчлив до нестерпимости; то опять хотел достигнуть всего одним путем убеждения и наставления, поучения; «Мысли вслух у Красного Крыльца», сочинения Ивана Яковлевича, читались тогда по целым часам собранным в одну кучу крестьянам, как приказ земского суда. Послушайте его в такой час, и вы найдете живого *Стародумова* или *Прямикова*¹, лица, которые, как мы полагали, могут жить только в скучных монологах отжившей век свой драны. Докучая всем до невероятности, когда находила на него эта полоса премудрости, он сам был собою доволен и счастлив; послушать его, так он преобразовал весь околоток, из крестьян своих сделал умных, рассудительных, добрых и послушных людей, а поглядишь на деле – бестолочь такая же, как и всюду: та же бессмертная овца, те же тальки, самосидные яйца, утиральники и пени с новоженцев². При людях, которые мало знали Ивана Яковлевича или

¹ *Стародумов, Прямиков* – распространенные имена действующих лиц в русской комедии XVIII века.

² Для некоторых читателей надобно, вероятно, пояснить это место. *Бессмертный баран* или *овца* дается молодому крестьянину, когда его женят, на обзаведение хозяйства; крестьянин обязан прокормить эту даровую овцу и подносить барину ежегодно по ягненку; жива ли, нет ли овца, никто не спрашивает; она числится бессмертною. *Тальками* называются уроки, задаваемые бабам на зимние ночи, когда их заставляют прясть лен; здоровые бабы ходят на другую барскую работу, а хворые, косолапые сидят при нагорелых лучинах и прядут свои тальки. Бабы в одном мне известном случае не могли или не хотели откупиться от работы этой за шестьдесят копеек в зиму, а между тем плачут за нею горько и просят освободить от нее. *Самосидные яйца* раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них весною цыплят. Шитые *утиральники* и по *десяти рублей* собираются со всех новоженцев в пользу господ, когда молодым дается позволение

приезжали в первый раз, он нередко вдруг прикидывался хватом, молодцом, силачом, отчаянным ратником на поприще спасения погибающих – и все, что он желал, может быть, когда-нибудь сделать, все это являлось у него уже готовым, действительно исполненным и сделанным, и он лгал и врал тогда без всякого зазрения совести. Иногда находила на него неодолимая охота потешить присутствующих русскими песнями, даже пляской, и тогда он пускался во все нелегкие, кстати ли, некстати – ему все одно. Иногда ломал он немилосердно, и по целым дням, русский язык, передразнивая немца, англичанина, итальянца, – и тогда уже ни с кем не говорил иначе; в другое время порывался говорить по-украински, по-польски; то начинал приучать себя говорить самым отборным, книжным русским языком, то хотел подделаться под наречие крестьянское, то корчил заику, косноязычного и, наконец, зверя или птицу. Иван Яковлевич, например, нередко, сидя у себя один, упражнялся в том, чтобы кричать петухом, теленком, кошкой или быть волком; свои к этому привыкли, и если вдруг страшный вой раздавался по целому дому, то никто на это не обращал внимания. Раз только страшный волчий вой переполошил весь дом, потому что дело происходило ночью. Иван Яковлевич сам перепугался этой тревоги: мать охала, стонала и дрожала, дети ревели в голос, девки и холопы сбивали друг друга с ног, дворня сбежалась, потому что уже и ночной сторож, думая, что в доме режут, колотил во всю мочь деревянным клепалом и орал во всю глотку: «Караул!» Ивану Яковлевичу, как они тогда сказывали, показалось, что уже должно быть утро, и он хотел только напугать проспавших холопов. Я помню так же, как Шелоумову вздумалось непременно выучиться ржать по-конски; это стоило большого труда, и за этим привозили из соседства учителя, какого-то цыгана или татарина. Обыкновенно Иван Яковлевич подражал по наружности во всем такому человеку, которого недавно видел, если человек этот особенно понравился ему или он хотел его осмеять.

Вот вам отец мой и благодетель налицо; после этого не мудрено, если он, вспомнив вдруг, что я несчастный сирота, приказал вымыть, вычесать меня, одеть в старое платье барчонка, призвал, говорил очень долго и назидательно – хотя я и ровно ничего не понимал – и велел мне учиться вместе с баричами у священника, у отставного протоколиста, которого не велено было принимать никуда на службу, и у взятого для ученья в дом француза с отмороженными ногами, который остался в том краю, когда все товарищи его, пленники с ногами, отправились домой.

Глава III. От замороженного француза до зеленой куртки Ивана Яковлевича

Этому французу и священнику я обязан много; они меня всему доброму выучили, что я знаю и что во мне есть; протоколист учил нас только вместо всемирной и российской истории быть всемирными и российскими негодаями, воровать для него у барина табак, а у барыни сахар, нитки, иголки; лучшее, чему он нас выучил, это играть в козны, в свайку и ловить разными силками и западочками певчих птиц. Случай, по которому он наконец лишился хлеба у Ивана Яковлевича, стоит того, чтобы об нем упомянуть: человек этот, как я сказал, таскал домой все, что только попадалось ему под руки, и, между прочим, завел очередь между учениками своими и отпарывал каждый день у одного по пуговке, роговой или медной, какая случалась, – а обтяжных, впрочем, не трогал. Детям велел он всегда говорить, что пуговка оторвалась и потерялась. Но как в этом доме никто много об одежде нашей не заботился, а протоколист день за день продолжал промысел свой, то барин и заметил вдруг за обедом, что на баричах ни на одном нет ни одной пуговицы. Дело пошло на разбирательства, а как я уже вовсе не желал, чтобы меня опять посекли в пример и страх другим, то я и открыл в ту же минуту всю проделку. Протоколиста комнатку, через двор, в пристройке, освидетельствовали, нашли целый выюк краденых безделушек, надели ему на шею низку пуговиц, низку из кусочков сахара, – помню, что большого труда стоило нанизать сахар этот, но Иван Яковлевич настоял на своем, – напутали на протоколиста ниток, шелку, булавками да иглами прикололи к сюртучишку краденые листки бумаги, ленточки, всякую дрянь и, выведивши его в этом наряде по двору и по всему селу, вывели за околицу и пустили по дороге. Помню, что протоколист просил жалобно: «Что угодно извольте делать надо мной, хоть плетью прикажите наказать, только чести не лишайте, не изгоняйте из дому своего без куска хлеба». Но все просьбы не помогли, протоколиста не стало.

У священника выучился я по-русски и еще кой-чему; француз настроил меня на такой лад, что меня забрала страстная охота учиться всему на свете. У него без пути не проходило ни одного часу: сидит за чаем, разговаривает с тобой обо всякой всячине и, шутя, приохочивает ребенка расспрашивать и слушать; какую вещь ни возьмет в руки, придерется к ней и расскажет как делается, где, куда и для чего годится, когда изобретена и прочее. Пойдет гулять с тобой на костылях – ни цветка, ни листика, ни букашки не пропустит, чтобы не заучить, как называется она, в какой разряд и порядок она следует, и почему, и куда, и для чего бывает пригодна. От него я шутя выучился трем языкам. Он с попом нашим был очень дружен – и умел ладить со всеми, даже с Иваном Яковлевичем, и – за что я также век буду ему благодарен, – не давая нам никогда слоняться от безделья из угла в угол, занимал столярной, токарной и картонной работой, выучил немного чинить часы, замочки и прочее.

Таким образом, минуло мне уже семнадцать лет, – да, теперь только вспомнил, что я ни слова не сказал о второй названной матери моей, Настасье Ивановне Шелоумовой. Грешно бы мне забыть ее, когда вырос я у нее в доме, как сын. Она любила и уважала Ивана Яковлевича как нельзя больше, до такой степени, что, применяясь каждый день к личине, которую он надевал, к роли, которую он играл, и сама того не замечая, также изменялась день за день в правилах, нраве, видах и намерениях своих и слепо шла ощупью за Иваном Яковлевичем. Отставала она от него, противилась, плакала, молила и кричала тогда только, когда он впадал в крайности вредные и дурные, когда находило на него рвение преобразовывать весь мир плетью и палкой. И действительно, тогда Настасья Ивановна брала вскоре над ним верх, и побежденный, образумившись, перескакивал с верхней ступени крайностей своих на вторую и третью, перестраивал лад дудки своей пониже, а иногда гласно и торжественно винулся и повинился

супруге своей, проповедуя честь и славу и хвалу женщинам и признавая их естественными наставницами и руководительницами нашими. В такую пору ничего в доме и в хозяйстве не делалось без спросу Настасьи Ивановны; к ней посылались и дворецкие, и бурмистры, и конюшие, до которых ей, по принятому в доме порядку, не было никакого дела, потому что она не входила и не мешалась ни во что. «Дочерей у меня нет, – говорила она обыкновенно, – бог не дал; стало быть, нет и хозяйства, нет и дела, как только угождать на Ивана Яковлевича; а сыновья растут у него на руках как себе знают». И затем она обыкновенно тяжело вздыхала, покачивала головой, а нередко и плакала. Жалобы, слезы и вздохи были ее стихией; без них она, как казак без коня, как воин без шпаги. Всегдашний ее разговор, с своими ли, с чужими ли, – это было благодарение богу за семейное благополучие свое, но это делалось таким плачевным образом, что, не вслушавшись, можно бы подумать, не поминает ли она какого-нибудь покойника и жалобно ему причитывает. О четырех детках своих она говорила точно таким образом, будто у нее всего одно только дитя за душой, да и то кто-нибудь отрывает от груди ее; о любезном Иване Яковлевиче – будто он разбит параличом и лежит уже на одре смерти; о порядочном имении, которое с избытком обеспечивало все нужды семейства, – будто сегодня господь дал насущную кроху, а будет ли завтра, кто знает? По этой же причине она всегда говорила умалительными и уменьшительными словами: муженек, муженечек, деточки, детушки, детеныши, деньжоночки, мужички, домишко, огородишко, пашенка и прочее. Она одевалась очень просто, всегда в темное платье, но черного ни за что на свете не шила и не терпела: «Нет, батюшки-светики мои, уж сама на себя лиху беду не накличу».

Иван Яковлевич ходил, по обстоятельствам, в разнородном домашнем платье: иногда можно было, взглянув на него, отгадать, кто он таков сегодня и чем или кем хочет быть. Когда он являлся в халате своем, то это значило, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, байковом или камлотовом, то это значило, что он будет человек крайне деловой и занятой; если же в коротенькой куртке, то это была одна из самых дурных примет и очень походило на расправу со всей дворней; тогда уже холопы толкали друг друга в локоть, и от передней до скотного двора было известно, что барин вышел кушать чай *в куртке*. Если только Настасье Ивановне удавалось стащить с плеч Ивана Яковлевича куртку эту, которая же прилична одним ребятишкам, тогда и гроза проносилась мимо. Но две крайности – вовсе без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке-, или в щегольском убранстве – показывали, что барин будет отчаянным, молодцом, весельчаком. Щегольское убранство, впрочем, было в ходу только при чужих, когда кто приезжал погостить, и было двоякое: суконный сюртук или даже фрак со всеми к нему принадлежностями или же кофейного цвету венгерка с черными шнурами и прибором. Очевидно, что в первом случае выходил светский щеголь, во втором – лихой рубака, спаситель всех утопающих и сгорающих. Тогда и примерам самоотвержения Ивана Яковлевича не было конца, и он чистосердечно рассказывал, что представил было сам себя к медали за спасение погибавших, когда с отчаянною решимостью погасил руками загоревшийся ситцевый полог у постели спавшей жены своей, что не умеют ценить достойных, медали не дали; но умалчивал при этом случае, что он сам и поджег полог этот, заснувши и не погасив свечи. «Следовал бы Владимирский крест, – прибавлял он, – да не совсем приходится по статуту, так уже хоть бы золотую медаль на владимирской ленте дали: ну, нет!» Когда он выходил безо всего, то говаривал, охорашиваясь: «Ничего тут нет мудреного, что Суворов надевал ленту свою на рубашку и так выходил, – дайте мне только ленту, и я ее надену!»

Дети Шелоумовых были не одинаковы: третий сынок был, кажется, в мать, плаксивый мальчишка, четвертый – баловень отца и матери, упрямый и большой шалун, второй, мне ровесник, был хороший, умный малый и один из всех охоч к наукам; с ним мы ладили и жили дружно. Старший был отъявленный негодяй, достойный ученик нашего общего наставника – протоколиста. Он давно уже знал все и умел все и в ссоре с братьями тотчас козырял им стар-

шинством своим и тем, что он один будет наследником отцовского имения, а их устранил и не признает братьями. Отцу он не смел грубить, а матери сказал однажды в глаза, что сожжет дом над нею, если она станет так присматривать за ним, как за маленьким, и не даст ему воли делать что хочет. «Вон у вас есть дитя, – сказал он, указав на младшего, – а я по отце в доме старший». С ним-то, с Сергеем Ивановичем, жили мы очень не в ладах с малых лет. Меня звали Вашей, Башкой или Вашенькой, – он всегда переменял букву а на о и, несмотря на все ссоры и запреты, до последнего дня никогда не звал меня иначе; если у меня было что-нибудь съестное в руках и близко никого из старших не случалось, то Сергей Иванович уж непременно выбьет у меня ломоть из рук и, толкнув его ногой, закричит собаке: «Пиль!» Если я под руководством француза склеивал и расписывал бумажный домик, строил деревянную мельницу, то, бывало, оглянуться не успею, как Сережа, наткнув избушку мою на длинную палку, бегал по улице и кричал: «Кому набалдашник!» – и наконец, выманив меня этим зловещим криком, разбивал работу мою вдребезги, не дав добежать до него на несколько шагов. Эта же знаменитая палка имела и еще другое назначение: Сергей Иванович караулил где-нибудь в дверях девок и подставлял им нечаянно палку, чтобы они через нее падали. На жалобу я както редко решался, драться сам не смел, и если бы не костыль француза, то не было бы мне иногда житья от Сергея. Раза два я ему, однако же, отомстил; я сделал гласный донос на него: первое – за жестокие побои одному крестьянскому мальчишке, у которого сам же он отнял и задушил зайчонка, и второе – за покражу у старосты полтинника. Оба раза Иван Яковлевич пришел мгновенно в такое расположение духа, что целые сутки ходил в куртке, и еще засучив рукава – самый отчаянный знак; оба раза Сергей Иванович был наказан, как наказывают только дворян малолетних, и никакая мольба Настасьи Ивановны высечь лучше для примера одного из дворовых мальчишек, которые вчера еще пролезли в палисадник и рылись в огороде, не помогла. Сережа наказан, и куртка еще целые сутки нагоняла страх на божий мир в селе Путилове. Этого-то мне Сергей Иванович никогда не мог простить; и когда мне уже минуло семнадцать лет, как я упомянул, а ему девятнадцать, то он все еще твердо помнил угрозы свои и готов был вырвать у меня из рук последний ломоть хлеба и бросить его собаке.

Глава IV. От зеленой куртки Ивана Яковлевича до последних фокусов его

Итак, все мы подросли; мне минуло семнадцать лет – считая по именинам: дня своего рождения я не знал, – но это сделалось так незаметно, исподволь, что мы всё еще считались ребятами и Иван Яковлевич говорил о том, куда намерен пристроить сыновей своих на службу, как о вещи еще весьма отдаленной. В один вечер, когда у нас съехались кой-кто из соседей и навезли невест богатым женихам, Иван Яковлевич был необыкновенно в духе, строил проказы на диво, надрывался, чтобы утешить, насмешить и занять всех, и, между прочим, провизжал нечаянно так натурально щеночком, что Настасья Ивановна даже от жалости к такой махонькой твари прослезилась и, глубоко вздохнувши, покачала головой; потом Иван Яковлевич схватил меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед себя и, перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом чрезвычайно удачно контрабасу; эта шутка всех насмешила до слез; но Иван Яковлевич вдруг, закашлявшись и как будто вздумав что-нибудь новое, опрометью побежал из залы в свой кабинет. Все затихло в ожидании; я также, стоя посреди комнаты, ждал приказания, думая, что штуки будут еще продолжаться, и не смея сойти с места. Проходит несколько минут, и все тихо – а в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос; все считали обязанностью хохотать над этой шуткой хозяина, хотя никто еще не понимал, что из этого будет; одна Настасья Ивановна упрашивала только мужа плаксивым голосом перестать, потому что это слишком страшно, и предвляла гостей, что Иван Яковлевич собирается взвыть волком. Голос затих, все снова стали прислушиваться: послышалось сильное хрипение – опять захохотали: нельзя же, хозяин тешит гостей, надо благодарить. «Вот, Настасья Ивановна, – сказала одна гостья», – вам не в угоду была та штука, Иван Яковлевич тотчас и другую нашел, заснул, экой проказник!» Затихло и хрипение; ждали, больше ничего нет; Настасье Ивановне показалось сомнительно, что-де Иван Яковлевич долго там делает и гостей покинул, пошла в кабинет и сама взвыла волком: Иван Яковлевич лежал на диванчике и простывал уже – с четверть часа, как изволили скончаться.

Итак, бедного Ивана Яковлевича сразил внезапно кровавой удар, и ни следу жизни больше, ни тени надежды. Суматоха сделалась в доме страшная, все теснились в трехаршинный кабинет; толкали друг друга; бабы подняли вой, истинно волчий, какого покойнику не удавалось заживо подслушать; привезли запыхавшегося мельника, который, как около машинного дела ходит, умел также поставить рожки и бросить кровь; кровь не пошла, но при этом случае все, кто был живой тут, убедились, что покойник приготовил было еще много штук на сегодняшний вечер. Поднесли свечи, стали раздевать покойника, чтобы бросить ему кровь; все теснилось и зорко, пристально вглядывались, сняли перчатку с левой руки – на кулаке написана красками преуморительная рожа, нельзя не смеяться, при всей жалости. Иван Яковлевич умел закутывать искусно и свивать расписанную таким образом руку, и у него выходил из этого плачущий младенец, которого он качал и убаюкивал, и сам же за него ревел. Сняли фрак – другая штука наготове: положена вдоль спины белая полотняная рубаша – как будто знал, что она ему сегодня понадобится! Это была заветная штука Ивана Яковлевича, которой он никому не рассказывал, только всех ею удивлял, – смерть ему изменила; теперь все вышло наружу! Иван Яковлевич ходит будто ни в чем не бывал и заведет речь, что можно-де с кого угодно снять все белье, а платья не трогать, оно останется сверху. Разумеется, никто этому не верил, но никто и не соглашался при всем честном обществе на пробу, а только спорил, что быть не может. Тогда Иван Яковлевич говаривал: «Ну, так уж и быть, для такого дня, для таких гостей, извольте, я жертвую собой», – и, сняв шейный платок, развязывал обложенный из-за

спины воротничок рубахи, расстегивал рукава ее на белых нитяных пуговочках и приказывал кому-нибудь ухватить на затылке ворот рубахи и тянуть смелее; к общему ужасу и удивлению, рубаха вся выходила этим путем наружу, а фрак оставался на плечах и все платье на своем месте и в порядке.

Но этим еще приуготовления Ивана Яковлевича не кончились: ногти средних пальцев были у покойника, покрыты слоем желтого воску для отличного фокуса с серебряными пяточками; из кармана жилетки выкатился свисток, которым Иван Яковлевич, бывало, дразнит соловья; словом, покойник был этот день весь на фокусах, и, глядя на все это, можно было усомниться: не фокус ли и это холодное чело, бездыханная грудь и сердце без боя?

Но нет, это был не фокус; все там будем, как заметил при этом случае староста, – кто прежде, кто после! Мы осиротели, не успев и подумать о сбыточности такого горя, не испытав ни одного мгновения страха, боязни и надежды у изножья его одра. Я плакал горько; соленая, едкая слеза текла по щеке и растревляла царапину, которую провел тут невзначай живой Иван Яковлевич, когда играл на контрабасе; я потирал ее рукой, и плакал, и оглядывался: мне казалось, благодетель мой еще стоит за мною, и пилит меня по брюху, и царапает пальцами по лицу, – а труп его лежал уже передо мною!

Это был вообще первый покойник, которого мне сыздетства случилось так близко видеть; я не мог верить, что благодетеля моего нет; он живой был еще слишком близок ко мне. Я остался при покойнике и прорыдал всю ночь; дьячки читали однообразным, глухим полуголосом, француз сидел в углу на креслах, сложив руки на положенные поперек перед собою костыли; дети Ивана Яковлевича плакали, кроме Сергея, который скоро утешился; Настасья Ивановна всю ночь пролежала на полу ничком, вопила и выла, припоминая и причитывая все добро, которое видала от супруга своего, и окончивала всегда вопросом: «А кто мне теперь будет...» и прочее. Дворня в первую минуту с пронзительным воем бросилась в барские покои, но вскоре уgomонилась, кроме нескольких баб, которые остались помощницами при Настасье Ивановне. Мужики приходили из села беспрестанно, входили тихо и чинно, вздыхали, крестились молча и опять уходили. Бабы все любопытствовали только взглянуть на лицо покойника, посмотреть на него, больше им ничего не нужно было. На третий день были похороны, к коим вдруг явился, откуда ни взялся опять, наш протоколист, которого мы не видали уже несколько лет. Он так ел за поминальной трапезой, будто он во все годы эти не брал в рот ни крохи во ожидании такого сытного случая.

Глава V. От последних фокусов Ивана Яковлевича до казенного добра, которое не тонет и не горит

Начинается правление Сергея Ивановича, старшего наследника, потому что в междуцарствие, до назначения и приезда опекунов, прошло много времени; а во все это время правил делами и хозяйством он один. Правление это ознаменовалось тем, что протоколист снова поселился в доме и остался правою рукою нового хозяина, что француза согнали со двора, а отца Стефана, который прежде бывал ежедневно, не стали пускать в дом. Все приметы хорошие. В первый раз отроду пришла мне в голову мысль о том, что со временем из меня будет? Какой мне путь открыт в мире, какое мое назначение? Сильно овладела мною эта забота, отбивала ото сна и еды, и я пошел отвести душу к французу, которого взял к себе в дом на время священник. Первый потрепал меня по щеке и сказал мне по-французски то место из евангелия, где сказано, что каждому дню подобают заботы свои; а отец Стефан, кивнув головой, проговорил то же по-славянски. Я просидел у них долго, они утешали меня много – но не утешили; никто из них не мог решить моего сомнения и сказать мне что-нибудь положительное. Я не думал тогда, что судьба печется обо мне уже по-своему и что будущая участь моя решается в эту самую минуту в барском доме.

Протоколист шнырял всюду, наставлял и поучал Сергея Ивановича и, рывшись в конторе, открыл нечаянно, что покойный барин приписал меня при последней народной переписи, когда я был еще по другому году, в свои крепостные и дворовые; с этою вестию, с ревизскою сказкою в руках, поспешил он к нынешнему своему покровителю. Взявши меня круглым сиротою в дом, Иван Яковлевич, вероятно, нисколько не призадумался пристроить меня к своей дворне; ребенок взят еще сосунком, вскормлен, – своих у него нет, здесь он чужой, – куда же его больше девать, как не в дворовые? Когда же впоследствии сделали из меня полубарича, то Иван Яковлевич, как сказывала после Настасья Ивановна, намерен был дать мне отпускную; но времени впереди казалось еще много, ребенку ведь все равно, куда он приписан и где числится, а вырастет – успеем отпустить. Так думал Иван Яковлевич, да не так вышло!

Не успел я воротиться от священника, как малый прибежал за мною звать меня к Сергею Ивановичу, который уже перебрался в покои старого барина. В углу стоял подобострастно протоколист; дурная примета, подумал я – и не обманулсЯ. Сергей Иванович, назвав меня в первый раз отроду не исковерканным именем моим, Вакхом, продолжал: «Я привожу после покойного батюшки дела в порядок и подумал также о тебе. Вот, видишь, ревизские сказки, в которых ты значишься сыном тогдашней скотницы нашей Катерины и должен служить господам своим не хуже другого. Полно тебе жить дармоедом, это стыдно и грешно. Надеюсь, ты помнишь все наши благодеяния и постарайся их заслужить; я на первый случай не помню тебе старых твоих грехов. Бывшего старосту я сменил, а новый безграмотен, да и мало привычен еще к делу; будь же ты у него помощником да слушайся его во всем, а не то, если не подорожишь моею милостью, так будешь у меня свинопасом. Ступай, жить можешь покуда в конторе».

Все это меня так озадачило, что я опять в ту же минуту пошел на суд и совет к отцу Стефану. Француз стучал костылями в пол и грозил кулаком на воздух, а отец Стефан, выслушав все спокойно, пошел сам в контору за справкой. Она подтвердила все; меня приписали шестнадцать лет тому назад, забыли про это или оставили без внимания; так я и рос, и никто об этом маловажном обстоятельстве не заботился. Просьбы священника у Настасьи Ивановны не помогли, а рассердили только Сергея, которому мать не смела указывать; братья его и подавно были безгласны, он всех их рвал за уши и грозил сечь; тоже досталось и второму, Николаю, который ходил за меня просить. Таким образом, участь моя была решена. Француз успокоился, когда нечего больше было делать, и учил меня переносить свою судьбу, удерживая от всех дур-

ных замыслов и покушений, которые иногда роились в моей бедной голове, – как, например, от побега, на который я однажды было почти решился.

Быть крепостным – это но себе еще не так велика беда; да мое-то положение было нестерпимое, и если б не отец Стефан да не француз, я бы себя погубил. На что же мне дали это образование? Приписали – так и оставили бы у Катерины на скотном дворе, и я бы пас свиней да плел бы лапти не хуже другого, а теперь тяжело. Как помощник старосты записывал я бирки его, стоял по целым дням и считал снопы, когда молотили для пробного умолоту; объезжал пашни, околицу, стоял с хворостиной, когда пахали не на урок, а по дням, и был вообще на посылках, вроде десятского; бывало, в темную, грязную ночь идешь от избы до избы под окном, постучишь и наказываешь по наряду старосты, кому куда с зарей на работу. Вот в чем состояли занятия Вакха Сидорова Чайкина, попавшего из полубар чуть не в свинопасы.

Но всего этого Сергею Ивановичу было мало, он, видно, решился dokonать меня, стал налегать со дня на день больше. Немного все-таки совестно было ему перед всеми живыми людьми; делал я все, что ни заставят, и уж жалоб на меня не было никаких – а я видел, чего ему хотелось; он таки не шутя хотел понемногу поднять меня до чину свинопаса, и хотелось ему непременно меня посечь. Француз всегда умел меня утешить и успокоить, во всех обстоятельствах давал положительные советы, что делать; но когда я ему предложил однажды последнее обстоятельство на разрешение, тогда он замолчал и стиснул только зубы, повел бровями и пожал плечами. Ответа я долго не мог от него добиться; наконец он сказал: «Делай что сам знаешь», – и, встав, пошел раскачиваться по маленькой светлице на костылях.

Но господь сохранил меня и не допустил до этого; иначе, может быть, теперь лежал бы на душе моей большой грех. Тут случилось вот что.

Как теперь помню, в воскресенье поутру, когда мы выходили от обедни – а в деревнях, как вы знаете, обедня и начинается и оканчивается рано, – зазвенел вдруг на конце села колокольчик, поднялась пыль, летит тройка. Ну, это, уж конечно, никто как исправник, В деревне это событие не последнее; исправник без дела не приедет, всем хочется знать, зачем он приехал, и барские холопы всегда уже по два и по три стоят, упершись головою в двери, и подслушивают, о чем идет речь. Я от обедни пошел с отцом Стефаном к нему на дом, а через полчаса вдруг шась в двери названная мать моя, старуха Катерина. Она вошла запыхавшись и с каким-то особенно таинственным видом, помолившись, прокашлявшись и поздоровавшись, рассказывает в отчаянье, что исправник приехал за мной, что меня берут в солдаты. Долго не могли мы добиться толку у старушки, которая едва успела отвести дух, как залилась слезами и начала причитывать по мне, как по покойнике: «А ты радость моя, а ты ненаглядный мой, а ты красное солнышко мое...» и прочее. Когда батюшка побранил ее и успокоил, а француз в нетерпении прикрикнул, стукнув костылем в пол, то она так же несвязно и бестолково, хотя во всей подробности, рассказала, что Андрюшка стал было подслушивать у дверей кабинета, куда барин ушел с исправником, да барин увидал, и взял Андрюшку за чуб, и ударил лбом в косяк, и отбил Андрюшке охоту подслушивать; там Ефишка с Ванькой подошли немного погодя на смену и кой-что слышали-таки, да барин опять вдруг выскочил, и ухватил их обоих за чубы, и долго колотил лоб об лоб; между тем, однако же, Андрюшка отдохнул, оправился и снова подкрался со щеткой в руках, на случай прикинуться, будто что подметает; и все они вместе слышали, что исправник приехал за мной и берет меня в солдаты.

Как ни была для нас троих, отца Стефана, француз и меня, весть эта непонятна, потому что нельзя было тут добиться никакого толку и смысла, однако она всех нас крайне обрадовала; это была одна из счастливых минут жизни моей, и я не смел дать полной веры словам моей старухи. «Коли быть мне битым, – сказал я, – так пусть бьет меня государев чин, а не Сергей Иванович». Француз был просто вне себя от радости; батюшка поздравлял меня с отдачею в солдаты, как поздравляют близкого человека с чином генерала. Помню все это как теперь: я стоял среди комнаты, сложив руки, выставив ногу вперед, и, кажется, старался придать себе

солдатскую осанку; батюшка передо мною, в праздничном подряснике своем и положив правую руку на грудь, уверял меня в своей искренней радости, в милости господней и непостижимости промысла его и косился немного на француза, который вскочил с места, стоял на одном костыле, другой вскинул на плечо вместо ружья и, потряхивая молодецки головой, пел изо всей силы: *T'en souviens-tu*³, столь известную военную французскую песню. Между тем попадья выглядывала любопытно из-за перегородки, со сковородником в руках, а старая Катерина выла от всей души и уже ни на кого более не глядела.

И действительно, я в тот же самый день вечером сидел уже с писарем исправника на особой тележке и мчался в уездный наш город. Мне, как водится, хотели набить на ногу колодку, но отец Стефан упросил исправника, поручившись за меня и снабдив меня на дорогу пирогом матушкиного печенья. Француз простился со мной как солдат с солдатом и дал мне три целковых – у меня, разумеется, не было ни гроша. Настасья Ивановна плакала, прощаясь со мной, вспоминая покойного своего сожителя, и благословила меня образочком; Николай Иванович также заплакал и обнял меня, Сергей же сам не видался со мной, а велел только отобрать у меня платье и обувь и дать сапоги и зипунишко поплоче, из домашнего сукна.

Я уже было думал, что Сергей Иванович меня отдал в солдаты, хотя и не понимал, для чего это сделалось таким необыкновенным порядком; во всяком случае, я благословлял судьбу свою. Никто не взял на себя труда объяснить мне загадку эту, один только Николай сказал мне, что меня берут по указу губернского правления. Что же я за важный человек, что обо мне правление пишет указы, и почему и за что? Я уже боялся ошибки, боялся, что меня опять обратят, когда писарь исправника, попутчик мой, объяснил мне все дело.

Отец мой, как я сказывал, отправился из Комлева в Лебедянь на ярмарку и пропадал без вести более году. Я родился во время отсутствия его, вскоре после отъезда, и мать сама поехала со мною отыскивать отца. Она, бедная, и не знала того, что ему там давно уже лоб забрили и что она солдатка, а сын ее кантонист. На пути сказали ей знакомые, встречные извозчики, что муж ее, слышно было, никак в тюрьме помер; вслед за тем и сама она в Путилове богу душу отдала, а я на грех остался. Казенное добро в воде не тонет, на огне не горит; через восемнадцать с лишком лет меня доискались и велели поставить на службу. Каким случаем отец мой угодил в солдаты, этого писарь не знал.

³ Помнишь ли ты об этом (франц.).

Глава VI. От казенного добра, которое не горит, не тонет, до преглупого покроя платья

Рассказал бы я, как еще одна добрая душа поплакала за мною в Путилове, как она стояла на пороге избенки, под мельницей, накрыв глаза левою рукою и ощипывая правою цветную завязку на рубашке своей, да не хочу докучать читателям. Она же недавно тогда помогала отцу таскать порожние мешки на мельницу, и вся, от головы до ног, припудрена была мукою. Огромное колесо ворочалось мерно, шумный стрежень воды прядал с лопасти на лопасть, вся мельница дрожала, гул отдавался далече, а вблизи петух, похлопывая крыльями, кричал во все горло, и его не было слышно; только было видно, что вытянулся и клев свой разинул. А колесу какое до чего дело? Оно знает свое, служит мельнику верно, покуда все клепки не рассыплются. Пожалуй, хоть голову подставь, и ту измочалит, и все будет вертеться по-прежнему. Его не разжалобишь.

В первый раз отроду увидел я, каков был свет за Путиловской околицей; уездный городишко наш с каменными присутственными местами показался мне столицей, а губернский поселил во мне такое уважение, что я легонько ступал по тропинкам улиц его, не смея развязно и свободно ходить. Тут я получил письмо от француза, который писал мне, между прочим, что Катерина все еще не отчаивается исходатайствовать мне свободу от службы и что протоколист взял у нее на этот предмет целковый. Она шла своим путем – верила только всякому вздору и обману, верила протоколисту, а не слушалась советов отца Стефана не давать этому отъявленному мошеннику по-пустому денег.

Меня через внутреннюю стражу сдали в полк и привели к присяге. Страшна показалась мне присяга эта, и я перечитывал ее несколько раз после. Слова: *не щадя живота своего, до последней капли крови* – придавали мне, однако же, какую-то бодрость, и я расписывал воображением своим разные случаи, когда доведется мне исполнить на деле клятву эту. Полк вскоре выступил в поход, как слышно было – в Италию, но все это оказалось ложною тревогой; войска размещены были в южных губерниях на квартирах, и храбрость моя, не остывшая во время перехода восьмисот верст пешком, с ружьем и ранцем, начинала остывать теперь от скуки и безделья. Между тем офицеры заметили меня и уже несколько в обращении своем отличали; а когда однажды рисунок мой дошел случайно до полковника, то он призвал меня, поговорил со мною, расспрашивал обо всем, и, наконец, в угоду полковнице, которой рисунок этот по вкусу пришелся, так что она много над ним смеялась, велел мне объяснить, что такое все эти лица и где они? Оговорка моя, что это будет долгая сказка и в связи с прежними приключениями моими, не помогла; полковница требовала непременно моих пояснений и села на стул, как будто собиралась меня долго слушать. Я рассказал, что тут дворецкий приволок меня со скотного двора, а холопы подают уже скамейку и розги, и меня собираются сечь за то, что третий сынок Ивана Яковлевича воткнул сальный огарок в отцовскую пенковую трубку; четверо баричей стояли рядом и лесенкой, один под одним, вплоть у скамьи; Настасья Ивановна, отстояв детенышей своих, спокойно уходила из комнаты, принявшись уже за свою работу, за веретено; Иван Яковлевич стоял в зеленой куртке своей, грозный, величественный, держал распушенный клетчатый платок в руке и указывал тою же рукой на третьего сыночка своего, будто бы говорил: «Это, шельменок, следовало бы тебе, принимай на свой счет, гляди, уж я его не пожалею!» Все четыре сыночка ревели, глядя прямо на отца и не закрывая лица руками, – такой их обнял страх, – а с меня огромный дворецкий тащил на лету и без того уже изодранные шароваришки, между тем как двое холопов наперерыв старались уложить меня и подняли в воздух. Все это делалось с таким усердием, что, казалось, они изорвут мальчишку на клочки, а Ивану Яковлевичу доведется сечь одну скамейку. Картинка эта всех много позабавила; пол-

ковник хохотал, полковница смеялась почти до истерики, две свояченицы также, и вдруг все стали говорить обо мне между собою по-французски: сожалеть обо мне, хвалить пристойную наружность мою и умаливать полковника, чтобы он принял во мне участие. Мне совестно было слушать все это, и я сказал полковнику, что разумею по-французски; это породило еще более любопытства: со мною заговорили и заставили рассказать на этом языке вкратце похождения свои. Все обступили меня, стояли вокруг меня, глядели во все глаза, как на диво какое, на зверя, тюленя морского, и не могли натешиться, надивиться, что человек говорит на двух, трех языках и играет на фортепьянах; а почему? потому что человек этот стоял навтыжку в солдатской шинели, не смея развести рук, и приговаривал за третьим словом: «Ваше высокоблагородие». Приди он в каком угодно ином платье, и все это не показалось бы нисколько удивительным. С этого дня судьба моя изменилась. Полковник, который принимал у себя и юнкеров своего полка с большой разборчивостью, вскоре велел мне ходить к себе обедать каждый день. Я охотно занимался ученьем детей его, тем более что приобрел тут же и еще ученицу в рисованье – ученицу, о которой поговорим после. От писарской должности я отказался, желая служить, коли служить, во фронте, и ходил во все наряды наравне с прочими солдатами, а свободное время проводил у полковника. Он приближал меня к себе понемногу и с большой осторожностью; видно было, что он хотел наперед меня испытать, увериться, таков ли я, каковы были мои слова; но менее чем через год я был в доме свой, а через два – мне нашили галуны. Полковник показал мне представление, в коем, несмотря на короткий срок службы моей, просил убедительно о производстве моем, в том уважении, что в полку-де не было ни одного офицера, каков этот рядовой. Пусть это и была одна только фигура убеждения, но она показывает, как любил меня полковник.

Положение мое при всем этом было очень странное: мне, как солдату, всякий говорил *ты*, начиная от полковника и полковницы и до денщиков, одни только горничные были вежливее, называли меня всегда кавалером, почтенным и Вакхом Сидоровичем. Навтыжке перед каждой парой эполет, я с дамами полковничьими был как со своими; да лих не свои, и не в свои я сани сел!

Раз как-то нарядили меня с тремя рядовыми в конвой за пойманными бродягами, которых отправляли в земский суд. Дорогою один из конвойных пустился в расспросы, кто из них, из арестантов, откуда родом. Я только было оборотился назад, чтобы велеть солдату молчать и не разговаривать с арестантами, как услышал, что один из них отвечал: «Из Комлева». Из Комлева, с родины моей! Я подумал с минуту и стал сам его расспрашивать, и сколько помню, один только этот раз во всю службу свою погрешил я заведомо против присяги своей – каюсь, но не раскаиваюсь. Я спросил: знавал ли он в Комлеве мещанина Сидора Чайкина или жену его Марью? «Как не знать, – отвечал он, – годов тому будет с двадцать, я у них сына крестил». – «Какого сына?» – «Такого сына, как бывают они: Вакха. Сидор в те поры уехал по торгам, а мне и наказал быть крестным отцом, коли родится у него сын; оно так и случилось». И комлевский бродяга оказался крестным отцом моим; он сказал мне, что я родился 1 марта, а отец мой был отдан в солдаты того же году, во время самой Лебедянской ярмарки – следовательно, около троицы или покрова, то есть, во всяком случае, позже, летом или осенью. Обстоятельство это, по-видимому пустое, было для меня довольно важно: если показание крестного отца моего справедливо, то я не кантонист, не солдат, а свободный человек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.